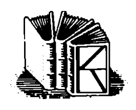
Конст. Вагинов

Опыты соединения слов посредством ритма

КНИЖНЫЕ РЕДКОСТИ
Библиотека репринтных изданий



Издательство "Книга"
Москва 1991

Конст. Вагинов

ОПЫТЫ СОЕДИНЕНИЯ СЛОВ ПОСРЕДСТВОМ РИТМА

Издательство Писателей в Ленинграде

№ 80
Отпечатано для Издательства Писателей
в Ленинграде, тип. „Светоч“, Б. Пушкарская, 18,
в количестве 1.200 экз. $2^{1}/_{2}$ п. л. Заказ № 1146.
Ленинградский Областлит № 40012.
Рисунок переплета М. Кирнарского.
1931

ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда Валерий Брюсов напечатал свое стихотворение, начинающееся словами:

Тень несозданных созданий
Колыхается во сне,
Словно лопасти латаний
На эмалевой стене

— это вызвало и смех и возмущение; все насквозь казалось абсурдным, особенно строки:

Всходит месяц обнаженный
При лазоревой луне...

На самом деле смысл этих образов был весьма простым; через окно комнаты, с погашенным светом, светит месяц, кидая тень от цветов на изразцовую печь и отражаясь на ней своим диском.

История русского стиха на всем протяжении своем от Ломоносова до, скажем, Сельвинского знает примеры гораздо более сложных «непонятностей», чем этот задорный, но элементарный эксперимент молодого Брюсова.

Против узости нашего взгляда на поэтическое слово, допускавшего для него только привычные, бытовые формы речи, возражал еще И. Анненский: «Слово — остается для нас явлением низшего порядка, которое живет исключительно отраженным светом; ему дозволяется, положим, побрякивать в стишках, но этим и должна исчерпываться его музыкальная потенция... И главное, при этом — ранжир

и нивеллировка. Для науки — все богатство, вся гибкость нашего духовного мира; здравый смысл может уверять, что земля неподвижна — наука ему не поверит; для слова же, т. е. поэзии, — за глаза довольно и здравого смысла — здесь он верховный судья, и решения его никакому обжалованию не подлежат. Поэтическое слово не смеет быть той капризной струей крови, которая греет и розовит мою руку: оно должно быть той рукавицей, которая напяливается на все ручные кисти, не подходя ни к одной».

Для нашего времени такая полемика в значительной мере потеряла свою остроту. После работы над словом Хлебникова, Пастернака, Маяковского, Мандельштама, Тихонова, Сельвинского и других поэтов, расширявших и утверждавших новые возможности стиховой речи, вопрос о законности тех или иных отклонений от бытовых форм языка не возбуждает сомнений.

К. Вагинов в этом вопросе занимает одну из крайних позиций; временами он не так далек от хлебниковской позиции «самовитого» слова, что выражается у него и в темах:

В словохранилищах блуждаю я.
Вдруг слово запоет, как соловей—
Я к лестнице бегу скорей,
И предо мною слово точно коридор,
Как путешествие под бурною луной
Из мрака в свет, со скал береговых
На моря беспредельный перелив.
Не в звуках музыка — она
Во измененье образов заключена.
Ни О, ни А, ни звук иной
Ничто пред музыкой такой.

Читаешь книгу — вдруг поет
Необъяснимый хоровод,
И хочется смеяться мне
В нежданном и весеннем дне.

Лирика Вагинова бессюжетна. Она свободна от рифмы от обязательной для футуризма гиперболы, от обязательной для акмеизма строфы. В ней трудно отметить все те элементы, которые мы находим у молодых поэтов сегодняшнего дня, тематика которых тесно сближена с событиями, имеющими твердые даты, композиция которых опрощена сюжетным развертыванием, пейзажным обрамлением и другими приемами прочно узаконенных форм. В стихах Вагинова смещение плоскостей пространства и времени кажется на первый взгляд неожиданным, фантастическим. Но, ведь, сама эпоха диктует нам темы таких смещений.

... Я в толпе сермяжного войска.
В Польшу налет — и перелет на Восток.
О, как сияет китайское мертвое солнце...
Снова на родине я. Ем чечевичную кашу.
Моря Балтийского шум. Тихая поступь ветров.

А смещение во времени — порождение того же стиля, который сочетает в Ленинграде классическую архитектуру зданий Гваренги, Томона и Росси с подъемными кранами, эллингами и заводскими корпусами. Но только невнимательный читатель не увидит у Вагинова внутренней борьбы сталкивающихся элементов, борьбы эпох, тяжбы поэта с «проклятым богом сухой и злой Эллады».

По особенностям голоса Вагинова, той медленности и торжественности, которые роднят его с акмеизмом —

Мне вручены цветущий финский берег
И римский воздух северной страны —

по эрудиции, по обилию литературных реминисценций, можно было бы причислить его к созерцательно-архаическим поэтам, — если бы не эта трагическая коллизия в сознании поэта, тесно связанная с его ощущением современности. В своей прозе он изобразил эту коллизию остро-сатирически, в лице Тептелкина и прочих персонажей, стремящихся пронести через революцию отжившие формы такой сладостной для них «культуры».

В поэзии у Вагинова эта тема борьбы двух эпох культуры — на границе сатиры и большой драматической лирики. В стихотворении «Отшельники, тристаны и поэты» тема крушения старой культуры выражена с наибольшей силой.

Вот монолог отшельника, одного из трех воплощений старого мира, с такими характерными для поэзии Вагинова абстрактными образами:

Пересекает голос лысый
Из кельи над рекой пустой:

«Не вожделел красот я мира,
Мой кабинет был остеклен,
За ними книги в пасти черной,
За книгами — сырая мгла.
Но все же я искал названий
И пустоту обогащал,
Наследник темный схимы темной,
Сухой и бледный, как монах.

И судьба всех:

. . . Как лепка рук умелых,
Тристан в расщелине лежит,
Отшельник дремлет в кельи книжной,
Поэт кричит, окаменев.

Богатые, тяжелые массивы старой культуры не давят сознания поэта, поэт слишком тесно и органически связан с нашей современностью, чтобы колебаться в выборе:

Не променяю жизнь на мрамор и гранит,
Пока в груди живое сердце дышит,
Пока во мне живая кровь поет.

И отсюда — бесконечно сложный путь лирики, и путь поэта, каждого поэта нашей эпохи, который

... Миру показать обязан
Вступление зари в еще живые ночи.

ОПЫТЫ
СОЕДИНЕНИЯ СЛОВ
ПОСРЕДСТВОМ РИТМА

Под гром войны тот гробный тать
Свершает путь поспешный,
По хриплым плитам тело волоча.
Легка ладья. Дома уже пылают.
Перетащил. Вернулся и потух.
  Теперь одно: о, голос соловьиный!
  Перенеслось:
  «Любимый мой, прощай».
Один на площади среди дворцов зменстых
Остановился он — безмысленная мгла.
Его же голос, сидя в пышном доме,
Кивал ему, и пел, и рвался сквозь окно.
И видел он горящие волокна,
И целовал летящие уста,
Полуживой, кричащий от боязни
Соединиться вновь — хоть тлен и пустота.
Над аркою коням Берлин двухбортный снится,
Полки примерные на рысьих лошадях,
Дремотною зарей разверчены собаки,
И очертанье гор бледнеет на луне.
И слышит он, как за стеной глубокой
Отъединенный голос говорит:
  «Ты вновь взбежал в червонные чертоги,
  «Ты вновь вошел в веселый лабиринт».
И стол накрыт, пирует голос с другом,
Глядят они в безбрежное вино.
А за стеклом, покрытым тусклой вьюгой,
Две головы развернуты на бой.

Ноябрь 1923

Вблизи от войн, в своих сквозных хоромах,
Среди домов, обвисших на полях,
Развертывая губы, простонала
Возлюбленная другу своему:
«Мне жутко, нет ветров веселых,
«Нет парков тех, что помнили весну,
«Обоих нас, блуждавших между кленов,
«Рассеянно смотревших на зарю.
«О, вспомни ночь. Сквозь тучи воды рвались,
«Под темным небом не было земли,
«И ты восстал в своем безумье тесном
«И в дождь завыл о буре и любви.
«Я разлила в тяжелые стаканы
«Спокойный вой о войнах и волках,
«И до утра под ветром пировала,
«Настраивая струны на уа.
«И видел домы ты, подстриженные купы,
«Прощальный голос матери твоей,
«Со мной, безбрежный, ты скитался
»И тек, и падал, вскакивал, пенясь».

Ноябрь 1923

И лирник спит в проснувшемся приморье,
Но тело легкое стремится по струнам
В росистый дом, без крыши и без пола,
Где с другом нежным юность проводил.
И голос вдруг во мраморах рыдает:
«О, друг, меня побереги.
«Своим дыханием расчетным
«Мое дыханье не лови».

Январь 1924

Как хорошо под кипарисами любови
На мнимом острове, в дремотной тишине
Стоять и ждать подруги пробужденье,
Пока зарей холмы окружены.
Так возросло забвенье. Без тревоги,
Ясней луны, сижу на камне я.
За мной жена, свои простерши косы,
Под кипарисы память повела.

Январь 1924

ПСИХЕЯ

Спит брачный пир в просторном мертвом граде,
И узкое лицо целует Филострат.
За ней весна свои цветы колышет,
За ним заря, растущая заря.
И снится им обоим, что приплыли
Хоть на плотах сквозь бурю и войну,
На ложе брачное под сению густою,
В спокойный дом на берегах Невы.

Январь 1924

О, сделай статуей звенящей
Мою оболочку,
Чтоб после отверстого плена
Стояла и пела она
О жизни своей ненаглядной,
О чудной подруге своей,
Под сенью смарагдовой ночи,
У врат Вавилонской стены.
Для вставшего в чреве могилы
Спокойная жизнь не страшна,
Он будет, конечно, влюбляться
В домовье, в жену у огня.
И ложным покажется ухо,
И скипетроносный прибой,
И золото черного шелка
Лохмотий его городов.

Апрель 1924

Из женовидных слов змеей струятся строки,
Как ведьм распахнутый кричащий хоровод,
Но ты храни державное спокойство,
Зарею венчанный и миртами в ночи.
И медленно, под тембр гитары темной,
Ты подбирай слова, и приручай и пой,
Но не лишай ни глаз, ни рук, ни ног зловещих,
Чтоб каждое неслось, но за руки держась.
И я вошел в слова, и вот кружусь я с ними,
Танцую в такт над дикой крутизной,
Внизу дома окружены зарею,
И милая жена, как темное стекло.

Апрель 1924

В одежде из старинных слов
На фоне мраморного хора
Свой острый лик я погрузил в партер,
Но лилия явилась мне из хора.
В ее глазах дрожала глубина
И стук сиял домашнего вязанья.
А на горе фонтана красный блеск
Заученное масок гоготанье.
И жизнь предстала садом мне,
Увы, не пышным польским садом.
И выступаю из колонн
Моих ночей мрачноречивых.
Но как мне жить средь людных очагов,
В плаще трагическом героя,
С привычкою все отступать назад
На два шага, с откинутой спиною.

Апрель 1924

Поэзия есть дар в темнице ночи струнной,
Пылающий, нежданный и глухой.
Природа мудрая всего меня лишила,
Таланты шумные, как серебро взяла.
И я, из башни свесившись в пустыню,
Припоминаю лестницу в цвету,
По ней взбирался я со скрипкой многотрудной,
Чтоб волнами и миром управлять.
Так в юности стремился я к безумью,
Загнал в глухую темь познание мое,
Чтобы цветок поэзии прекрасной
Питался им, как почвою родной.

Сент. 1924

ОТШЕЛЬНИКИ

Отшельники, тристаны и поэты,
Пылающие силой вещества —
Три разных рукава в снующих дебрях мира,
Прикованных к ластящемуся дну.
Среди людей я плыл по морю жизни,
Держа в цепях кричащую тоску,
Хотел забыться я у ног любви жемчужной,
Сидел, смеясь, на днище корабля.
Но день за днем сгущалось оперенье
Крылатых туч над головой тройной,
Зеленых крон все тише шелестенье,
Среди пустынь вдруг очутился я.
И слышу песнь во тьме руин высоких,
В рядах колонн без лавра и плюща:
«Пустынна жизнь среди Пальмир несчастных,
Где молодость, как виноград, цвела
В руках умелых садовода
Без лиц.
В его садах необозримых,
Неутолимы и ясны,
Выходят из развалин пары
И вспыхивают на порогах мглы.
И только столп стоит в пустыне,
В тяжелом пурпуре зари,
И бородой Эрот играет,

Копытцами переступает
На барельефе у земли.

Не растворяй в сырую ночь, Геката, —
Среди пустынь, пустую жизнь влачу,
Как изваяния, слова сидят со мною
Желанней пиршества и тише голубей.
И выступает город многолюдный,
И рынок спит в объятьях тишины!
Средь антикваров желчных говорю я:
«Пустынных форм томительно ищу».

Смолкает песнь, Тристан рыдает
В расщелине у драгоценных плит:

«О, для того-ль Изольды сердце
Лежало на моей груди,
Чтобы она, как Филомела,
Взлетела в капище любви,
Чтобы она прекрасной птицей
Кричала на ночных брегах...»

Пересекает голос лысый
Из кельи над рекой пустой:

«Не вожделел красот я мира,
Мой кабинет был остеклен,
За ними книги в пасти черной,
За книгами — сырая мгла.
Но все же я искал названий
И пустоту обогащал,
Наследник темный схимы темной,
Сухой и бледный, как монах.
С супругой нежной в жар вечерний
Я не спускался в сад любви...»

Но, выступает столп в пустыне
Шаги из келии ушли.

И в переходах отдаленных,
На разрисованных цветах,
Пространство музыкой светилось,
Как-будто солнцем озарилась
Невидимой, но ощутимой речь:
«Когда из волн я восходила
На Итальянские поля —
Но здесь нежданно я нашла
Остаток сына в прежнем зале.
Он красен был и молчалив,
Когда его я поднимала,
И ни кудрей, и ни чела,
Но все же крылышки дрожали».
И появившись вдалеке,
В плаще багровом, в ризе синей,
Седые космы распустив,
Она исчезла над пустыней.
И смолкло все. Как лепка рук умелых,
Тристан в расщелине лежит,
Отшельник дремлет в келье книжной,
Поэт кричит, окаменев.
Зеленых крон все громче шелестенье.
На улице у растопыренных громад
Очнулся я. Проходит час весенний,
Свершенный день раскрылся у ворот.

Май-Сент. 1924

Одно неровное мгновенье
Под ровным оком бытия
Свершаю путь я по пустыне,
Где искушает скорбь меня.
В шатрах скользящих свет не гаснет,
И от зари и до зари
Венчаюсь скорбью, и прощаюсь,
И вновь венчаюсь до зари.
Как-будто скорбь владеет мною,
Махнет платком — и я у ног,
И чувствую: за поцелуй единый
Я первородством пренебрег.

Сент. 1924

Под чудотворным, нежным звоном
Игральных слов стою опять.
Полудремотное существованье —
Вот, что осталось от меня.
Так сумасшедший собирает
Осколки, камешки, сучки,
Переменясь, располагает
И слушает остатки чувств.
И каждый камешек напоминает
Ему — то тихий говор хат,
То громкие палаты дожей,
Быть может, первую любовь
Средь петербургских улиц шумных
Когда вдруг вымирал проспект,
И он с подругой многогульной
Который раз свой совершал пробег,
Обеспокоен смутным страхом,
Рассветом, детством и луной.
Но снова ночь благоухает,
Янтарным дымом полон Крым,
Фонтаны бьют и музыка пылает,
И нереиды легкие резвятся перед ним.

Октябрь 1924

Не тщись, художник, к совершенству,
Поднять резец искривленной рукой,
Но выточи его, покрой изящным златом
И со статуей рядом положи.
И магнитически притянутые взоры
Тебя не проглядят в разубранном резце,
А статуя под покрывалом темным
В венце домов останется молчать.
Но прилетят года, резец твой потускнеет,
Проснется статуя и скинет темный плащ
И, патетически перенимая плач,
Заговорит, притягивая взоры.

Окт. 1924

О, сколько лет я превращался в эхо,
В стоящий вихрь развалин теневых.
Теперь я вырвался, свободный и скользящий,
И на балкон взошел, где юность начинал.
И снова стрелы улиц освещенных
Марионетную толпу струили подо мной.
И, мне казалось, в этот час отвесный
Я символистом свесился во мглу,
Седым и пережившим становленьем
И оперяющим опять глаза свои,
И одиночество при свете лампы ясной,
Когда не ждешь восторженных друзей,
Когда поклонницы стареющей оравой
На креслах наступившее хулят.
Нет, я другой. Живое начертанье
Во мне растет, как зарево.
Я миру показать обязан
Вступление зари в еще живые ночи.

Декабрь 1924

Да, целый год я взвешивал,
Но не понять мне моего искусства.
Уже в садах осенняя прохлада,
И дети новые друзей вокруг меня.
Испытывал я тщетно книги
В пергаментах суровых и новые
Со свежей типографской краской.
В одних — наитие, в других же — сочетанье,
Расположение — поэзией зовется.
Иногда
Больница для ума лишенных снится мне,
Чаще сад и беззаботное чириканье,
Равно невыносимы сны.
Но забываюсь часто, попрежнему
Безмысленно хватаю я бумагу —
И в хаосе заметное сгущенье,
И быстрое движенье элементов,
И образы под яростным лучом —
На миг. И все опять исчезло.
Хотел бы быть ученым, постепенно
Он мысль мою доводит до конца.
А нам одно блестящее мгновенье,
И упражненье месяцы и годы,
Как в освещенном плещущей луной
Монастыре.

Пастушья сумка, заячья капустка,
Окно с решеткой, за решеткой свет
Во тьме повис. И снова я пытаюсь
Восстановить утраченную цепь,
Звено в звено медлительно вдеваю.
И кажется, что знал я все
В растраченные юношества годы.
Умолк на холмах колокольный звон,
Покойников хоронят ранним утром,
Без отпеваний горестных и трудных,
Как-будто их субстанции хранятся
Из рода в род в телах живых.
В своей библиотеке позлащенной
Слежу за хороводами народов
И между строк прочитываю книги,
Халдейскою наукой увлечен.
И тот же ворон черный на столе,
Предвестник и водитель Аполлона.
Но из домов трудолюбивый шум
Рассеивает сумрак и тревогу.
И новый быт слагается,
Совсем другие песни
Поются в сумерках в одноэтажных городах.
Встают с зарей и с верой в первородство,
Готовятся спокойно управлять
До наступленья золотого века.
И принужденье постепенно ниспадает,
И в пеленах проснулося дитя,
Кричит оно, старушку забавляя,
И пляшет старая с толпою молодой.

Декабрь 1924

ВОРОН

Прекрасен, как ворон, стою в вышине,
Выпуклы архаически очи.
Вот ветку прибило, вот труп принесло.
И снова тина и камни.
И, важно ступая, спускаюсь со скал
И в очи свой клюв погружаю.
И чудится мне, что я пью ясный сок,
Что бабочкой переливаюсь.

Январь 1926

На крышке гроба Прокна
Зовет всю ночь сестру свою,
В темнице Филомела.
Ни петь, ни прясть, ни освещать
Уже ей в отчем доме.
Закрыты двери на запор,
А за дверьми дозоры.
И постепенно, день за днем
Слова позабывает,
И пеньем освещает мрак
И звуками играет.
Когда же вновь открылась дверь,
Услышали посланцы,
Как колыханье волн ночных,
Бессмысленное пенье.

Щебечет Прокна и взлетает
В лазури ясной под окном.
А соловей полночный тает
На птичьем языке своем.

1926

И снова мне мерещилась любовь
На диком дне. В взвивающемся свисте,
К ней все мы шли. Но берега росли.
Любви мы выше оказались.
И каждый, вниз бросая образ свой,
Его с собой мелодией связуя,
Стоял на берегу, растущем в высоту,
Своим-же образом чаруем.

1926

2 Зак. 1061

Над миром рысцой торопливой
Бегу я спокоен и тих.
Как-будто обтечь я обязан
И каждую вещь осмотреть.
И мимо мелькают и вьются,
Заметно к могилам спеша,
В обратную сторону тени
Когда-то любимых людей.
Из юноши дух выбегает,
А тело, старея, живет,
А девушки синие очи
За нею, как глупость, идут.

1926

В стремящейся стране, в определенный час
Себя я на пиру встречаю,
Когда огни застигнуты зарей
И, как цветы, заметно увядают.
Иносказаньем кажется тогда
Ночь, и заря, и дуновенье,
И горький парус вдалеке,
И птиц сиющее пенье.

1926

ЭВРИДИКА

Зарею лунною, когда я спал, я вышел,
Оставив спать свой образ на земле.
Над ним шумел листвою переливной
Пустынный парк военных дней.
Куда итти легчайшими ногами?
Зачем смотреть сквозь веки на поля?
Но музыкою из тумана
Передо мной возникла голова.
Ее глаза струились,
И губы белые влекли,
И волосы сияньем извивались
Над чернотой отсутствующих плеч.
И обожгло: ужели Эвридикой
Искусство стало, чтоб являться нам
Рассеянному поколению Орфеев,
Живущему лишь по ночам.

1926

ПСИХЕЯ

Любовь — это вечная юность.
Спит замок Литовский во мгле.
Канал проплывает и вьется,
Над замком притушенный свет.
И кажется солнцем встающим
Психея на дальнем конце,
Где тоже канал проплывает
В досчатой ограде своей.

1926

Тебе примерещился город,
Весь залитый светом дневным,
И шелковый плат в тихом доме,
И родственников голоса.
Быть может, сочные луны
Мерцают плодов над рекой,
Быть может, ясную зрелость
Напрасно мы ищем с тобой!
Все так же, почти насмехаясь,
Года за годами летят,
Прекрасные очи подруги
Все так же в пространство глядят.
Мне что — повернусь, не замечу
Как год пролетел и погас.
Но для нее цветы цветут,
К цветам идет она.
И в поднебесье голоса
И голоса в траве.

1926

Я восполненья не искал.
В своем пространстве
Я видел образ женщины, она
С лицом, как виноград, полупрозрачным,
Росла со мной и пела и цвела.
Я уменьшал себя и отправлял свой образ
На встречу с ней в глубокой тишине.
Я — часть себя. И страшно и пустынно.
Я от себя свой образ отделил.
Как листья скорчились и сжались мифы.
Идололатрией в последний раз звеня,
На брег один, без Эвридики,
Сквозь Ахеронт пронесся я.

1926

НОЧЬ

И мы по опустевшему паркету
Подходим к просветлевшим зеркалам.
Спит сад, покинутый толпою,
Среди дубов осина чуть дрожит
И лунный луч, земли не достигая,
Меж туч висит.
И в глубине, в переливающемся зале,
Танцуют, ходят, говорят.
Один сквозь ручку к даме гнется,
Другой медлительно следит
За собственным отображеньем,
А третий у камина спит
И видит Рима разрушенье.
И ночь на парусах стремится,
И самовольное встает
Полулетящее виденье:
— Средь вас я феникс одряхлевший.
В который раз, под дивной глубиной
Неистребимая, я на костре воскресну,
Но вы погибнете со мной. —
Сквозь дым и жар Психея слышит
Далекий погребальный звон.
Ей кажется огонь чужое тело ломит.
Пред нею возникает мир
Сперва в однообразии прозрачном.

1926

МУЗЫКА

В книговращалищах летят слова.
В словохранилищах блуждаю я.
Вдруг слово запоет, как соловей —
Я к лестнице бегу скорей,
И предо мною слово точно коридор,
Как путешествие под бурною луною
Из мрака в свет, со скал береговых
На моря беспредельный перелив.
Не в звуках музыка — она
Во измененье образов заключена
Ни О, ни А, ни звук иной
Ничто пред музыкой такой.
Читаешь книгу — вдруг поет
Необъяснимый хоровод,
И хочется смеяться мне
В нежданном и весеннем дне.

1926

За ночью ночь пусть опадает,
Мой друг в луне
Сидит и в зеркало глядится.
А за окном свеча двоится
И зеркало висит, как птица,
Меж звезд и туч.
«О, вспомни, милый, как бывало
«Во дни раздоров и войны
«Ты пел, взбегая на ступени
«Прозрачных зданий над Невой».
И очи шире раскрывая,
Плечами вздрогнет, подойдет.
И сердце, в флейту превращаясь,
Уныво в комнате поет.
А за окном свеча бледнеет
И утро серое встает.
В соседних комнатах чиханье,
Перегородок колыханье
И вот уже трамвай идет.

1926

Два пестрых одеяла,
Две старенькиx подушки,
Стоят кровати рядом.
А на окне цветочки —
Лавр вышиной с мизинец
И серый кустик мирта.
На узких полках книги,
На одеялах люди —
Мужчина бледносиний
И девочка жена.
В окошко лезут крыши,
Заглядывают кошки,
С истрепанною шеей
От слишком сильных ласк.
И дом давно проплеван,
Насквозь туберкулезен,
И масляная краска
Разбитого фасада,
Как кожа шелушится.
Напротив, из развалин,
Как кукиш между бревен
Глядит бордовый клевер
И головой кивает,
И кажет свой трилистник,
И ходят пионеры,
Наигрывая марш.
Мужчина бледносиний
И девочка жена

Внезапно пробудились
И встали у окна.
И, вновь благоухая
В державной пустоте,
Над ними ветви вьются
И листьями шуршат.
И вновь она Психеей
Склоняется над ним,
И вновь они с цветами
Гуляют вдоль реки.
Дома любовью стонут
В прекрасной тишине,
И окна́ все раскрыты
Над золотой водой.
Пактол-ли то стремится?
Не Сарды-ли стоят?
Иль брег александрийский?
Иль это римский сад?
Но голоса умолкли.
И дождик моросит.
Теперь они выходят
В туманный Ленинград.
Но иногда весною
Нисходит благодать:
И вновь для них не льдины,
А лебеди плывут,
И месяц освещает
Пактолом зимний путь.

1926

ЭЛЛИНИСТЫ

Мы, эллинисты, здесь толпой
В листве шумящей, вдоль реки,
Порхаем, словно мотыльки.
На тонких ножках голова,
На тонких щечках синева.
Блестящ и звонок дам наряд,
Фонтаны бьют, огни горят,
За парой парою скользим
И впереди наш танцевод
Ступает задом наперед.

И волхвованье слов под выпуклой луной
И образы людей исчезли предо мной,

И снова выплыл танцевод.
За ним толпа гуськом идет.
И не подруга — госпожа
За ручку каждого ведет
И каждый песенку поет:

«Проходит ночь,
Уходим прочь
В свои дома,
В подвалы.

А с вышины,
Из глубины
Густых паров,
Глядит любовь
И движет солнцем
И землей,
Зеленокрасною луной,
Зеленокрасною водою».

1926

«И дремлют львы, как изваянье,
И чудный Вакха голос звал
Меня в свои укромные пещеры,
Где все во всем открылось-бы очам.
Свое лицо я прятал поздней ночью
И точно вор звук вынимал шагов
По переулкам до-нельзя опасным.
Среди усмешек девушек ночных,
Среди бродяг физических я чуял
Отожествление свое с вселенной,
Невыносимое мгновенье пережил».

Мрак побелел, бледнели лица
Полуоставшихся гостей.
Казалось, город просыпался
Еще ненужней и бойчей.
Пред вознесенской Клеопатрой
Он опьянение прервал,
Его товарищ на диване
Опустошенный засыпал.
И женщина огромной тенью,
Как идол, высилась меж них,
Чуть шевеля пахучей тканью
На красной пола желтизне.
А на столе сиял, как перстень,
Еще не допитый глоток.
Символ не-вечности искусства
Быть опьяненными всегда.

1926

От берегов на берег
Меня зовет она,
Как-будто ветер блещет,
Как-будто бьет волна.
И с птичьими ногами
И с голосом благим
Одета синим светом
Садится предо мной:
«Плывем мы в океане,
«Корабль потонет вдруг,
«На острова блаженных
«Прибудем, милый друг.
«И музыку услышишь,
«И выйдет из пещер
«Прельщающий движенье
«Сомнамбулой Орфей.
«Сапфировые косы,
«Фракийские глаза,
«А на устах улыбка
«Придворного певца».
В стране Гипербореев
Есть остров Петербург,
И музы бьют ногами,
Хотя давно мертвы.
И птица приумолкла.
— Чирик, чирик, чирик —
И на окне, над локтем
Герани куст возник.

1926

Не лазоревый дождь,
И не буря во время ночное.
И не бездна вверху,
И не бездна внизу.
И не кажутся флотом,
Качаемым бурной волною,
Эти толпы домов
С перепуганным отблеском лиц.
Лишь у стекол герань
Заменила прежние пальмы
И висят занавески
Вместо тяжелых портьер.
Да еще поднялись
И засели за книгу,
Чтобы стала поменьше
Поуютнее жизнь.
В этой жизни пустынной,
О, мой друг, темнокудрый,
Нас дома разделяют,
Но, как птицы, навстречу
Наши души летят.
И встречаются ночью
На склоне цветущем,
Утомленные очи подняв.

1926

Дрожал проспект, стреляя светом,
Извозчиков дымилась цепь,
И вверх змеями извивалась
Толпа безжизненных калек.
И каждый маму вспоминает,
Вспотевший лобик вытирает,
И в хоровод детей вступает
С подругой первой на лугу.
И бонны медленно шагают,
Как злые феи с тростью длинной,
А гувернеры в отдаленье
Ждут окончанья торжества.
И змеи бледные проспекта
Ползут по лестницам осклизлым
И видят клети, в клетях лица
Подруг торжественного дня.
И исковерканные очи
Глядят с глубоким состраданьем
На вверх ползущие тела.
И прежним именем ласкают,
И в хоровод детей вступают
С распущенной косою длинной,
С глазами точно крылья птиц.

1926

ПЕСНЯ СЛОВ

1

Старые слова поют:

Мы все сюсюкаем и пляшем
И крылышками машем, машем,
И каждый фиговый дурак
За нами вслед пуститься рад.

Молодые слова поют:

Но мы печальны, боже мой,
Всей жизни гибель мы переживаем:
Увянет ли цветок — уже грустим,
Но вот другой — и мы позабываем
Все, все, что было связано с цветком:
Его огней минутное дыханье,
Строенье чудное его
И неизбежность увяданья.

Старые слова поют:

И уши длинные у нас.
Мы слышим, как растет трава,
И даже солнечный восход
В нас удивительно поет.

Вместе старые и молодые:

Пусть спит купец, пусть спит игрок,
Над нами тяготеет рок.
Вкруг Аполлона пляшем мы,
В высокий сон погружены,

И понимаем, что нас нет,
Что мы словесный только бред
Того, кто там в окне сидит
С молочницею говорит.

2

Слово в театральном костюме:

Мне хорошо в сырую ночь
Блуждать и гаснуть над водой
И думать о судьбе иной,
Когда одет пыльцею был,
Когда других произносил
Таких же точно мотыльков
В прах разодетых дурачков.
Дай ручку, слово, раз, два, три!
Хожу с тобою по земле.
За мною шествуют слова
И крылышки дрожат едва.
Как-будто бы амуров рой
Идет во глубине ночной.

Куда идет? Кого ведет?
И для чего опять поет?
И тонкий дым и легкий страх
Я чувствую в своих глазах.
И вижу, вижу маскарад.
Слова на полочках стоят —
Одно одето, точно граф,
Другое — как лакей Евграф,
А третье — верный архаизм —
Скользит как-будто бы трюкизм,
Танцует в такт и вниз глядит.
Там в городе бежит река,

Целуются два голубка,
Милиционер, зевнув, идет
И смотрит, как вода плывет.
Его подруга, как луна —
Ее изогнута спина,
Интеллигентен, тих и чист,
Смотрю, как дремлет букинист.
В подвале сыро и темно,
Семь полок, лестница, окно.
Но что мне делать в вышине,
Когда не холодно здесь мне?
Здесь запах книг,
Здесь стук жуков,
Как-будто тиканье часов.
Здесь время снизу жрет слова,
А наверху идет борьба.

1927

Слова из пепла слепок,
Стою я у пруда,
Ко мне идет нагая
Вся молодость моя.
Фальшивенький веночек
Надвинула на лоб.
Невинненький дружочек
Передо мной встает.
Он боязлив и страшен,
Мертва его душа,
Невинными словами
Она извлечена.
Он молит, умоляет,
Чтоб душу я вернул —
Я молод был, спокоен,
Души я не вернул.
Любил я слово к слову
Нежданно приставлять,
Гадать, что это значит,
И снова расставлять.
Я очень удивился:
— Но почему, мой друг,
Я просто так, играю,
К чему такой испуг?

Теперь опять явился
Перед моим окном:

Нашел я место в мире,
Живу я без души.
Пришел тебя проведать
Не изменился-ль ты?

1928

В пернатых облаках все те же струны славы,
Амуров рой. Но пот холодных глаз,
И пальцы помнят землю, смех и травы,
И серп зеленый у брегов дубрав.
Умолкнул гул, повеяло прохладой,
Темнее ночи и желтей вина
Проклятый бог сухой и злой Эллады
На пристани остановил меня.

Июль 1921

ЮНОША

Помню последнюю ночь в доме покойного детства:
Книги разодраны, лампа лежит на полу.
В улицы я убежал, и медного солнца ресницы
Гулко упали в колкие плечи мои.
Нары. Снега. Я в толпе сермяжного войска.
В Польшу налет — и перелет на Восток.
О, как сияет китайское мертвое солнце!
Помню, о нем я мечтал в тихие ночи тоски.
Снова на родине я. Ем чечевичную кашу.
Моря Балтийского шум. Тихая поступь ветров.
Но не откроет мне дверь насурмленная Маша.
Стаи белых людей лошадь грызут при луне.

Март 1922

ПОЭМА КВАДРАТОВ

1

Да, я поэт трагической забавы,
А все же жизнь смертельно хороша.
Как-будто женщина с линейными руками,
А не тлетворный куб из меди и стекла.
Снует базар, любимый говор черни.
Фонтан Бахчисарайский помнишь, друг?
Так от пластических Венер в квадраты кубов
Провалимся.

2

На скоротечный путь вступаю неизменно,
Легка нога, но упадает путь:
На Киликийский Тавр — под ухом гул гитары,
А в ресторан — но рядом душный Тмол.
Да, человек подобен океану,
А мозг его подобен янтарю,
Что на брегах лежит, а хочет влиться в пламень
Огромных рук, взметающих зарю.
И голосом своим нерукотворным
Дарую дань грядущим племенам,
Я знаю — кирпичем огнеупорным
Лежу у христианских стран.
Струна гудит, и дышат лавр и мята
Костями эллинов на ветряной земле,
И вот лечу, подхваченный спиралью.
Где упаду?

3
И вижу я несбывшееся детство,
Сестры не дали мне, ее не сотворить
Ни рокоту дубрав великолепной славы,
Ни золоту цыганского шатра.
Да, тело — океан, а мозг над головою
Склонен в зрачки и видит листный сад
И времена тугие и благие
Великой Греции.
4
Скрутилась ночь. Аиша, стан девичий,
Смотри, на лодке, Пряжку серебря,
Плывет заря. Но легкий стан девичий
Ответствует: «Зари не вижу я».
5
Да, я поэт трагической забавы,
А все же жизнь смертельно хороша,
Как-будто женщина с линейными руками,
А не тлетворный куб из меди и стекла.
Снует базар, любимый говор черни.
Фонтан Бахчисарайский помнишь, друг?
Так от пластических Венер в квадраты кубов
Провалимся.
6
Покатый дом и гул протяжных улиц.
Отшельника квадратный лоб горит.
Овальным озером, бездомным кругом
По женским плоскостям скользит.
Да, ты, поэт, владеешь плоскостями,
Квадратами ямбических фигур.
Морей погасших не запомнит память,
Ни белизны, ни золота Харит.

Июнь 1922

Человек

Среди ночных блистательных блужданий,
Под треск травы, под говор городской,
Я потерял морей небесных пламень,
Я потерял лирическую кровь.
Когда заря свои подъемлет перья,
Я у ворот безлиственно стою,
Мой лучезарный лик в чужие плечи канул,
В крови случайных женщин изошел.

Хор

Вновь повернет заря. В своей скалистой ночи
Орфей раздумью предан и судьбе,
И звуки ластятся, охватывают плечи
И лире тянутся, но не находят струн.

Человек

Не медномраморным, но жалким человеком
Стою на мраморной просторной вышине.
А ветр шумит, непойманные звуки
Обратно падают на золотую ночь.
Мой милый друг, сладка твоя постель и плечи.
Что мне восторгов райские пути?
Но помню я весь холод зимней ночи
И храм большой над синей крутизной.

Хор

Обыкновенный час дарован человеку.
Так отрекаемся, едва пропел петух,
От мрамора, от золота, от хвои
И входим в жизнь, откуда выход — смерть.

Август 1922

Шумит Родос, не спит Александрия,
И в черноте распущенных зрачков
Встает звезда, и легкий запах море
Горстями кинуло. И снова рыжий день.
Поэт, ты должен быть изменчивым, как море,—
Не заковать его в ущелья гулких скал.
Мне вручены цветущий финский берег
И римский воздух северной страны.

Ноябрь 1922

Я полюбил широкие каменья,
Тревогу трав на пастбищах крутых, —
То снится мне. Наверно день осенний,
И дождь прольет на улицах благих.
Давно я зряч, не ощущаю крыши,
Прозрачен для меня словесный хоровод.
Я слово выпущу, другое кину выше,
Но все равно, они вернутся в круг.
Но медленно волов благоуханье,
Но пастухи о праздности поют,
У гор двугорбых, смуглогруды люди,
И солнце виноградарем стоит.
Но ты вернись веселою подругой, —
Так о словах мы бредили в ночи.
Будь спутником, не богом человеку
Мой медленный раздвоенный язык.

Янв. 1923

В селеньях городских, где протекала юность,
Где четвертью луны не в меру обольщен...
О, море, нежный братец человечий,
Нечеловеческой тоски исполнен я.
Смотрю на золото предутренних свечений,
Вдыхаю порами балтийские ветра.
Невозвратимого не возвращают,
Напрасно музыка играет по ночам,
Не позабуду смерть и шелестенье знаю
И прохожу над миром одинок.

Февр. 1923

Крутым быком пересекая стены,
Упал на площадь виноградный стих.
Что делать нам, какой суровой карой
Ему сиянье славы возвратим?
Мы закуем его в тяжелые напевы,
В старинные, чугунные слова,
Чтоб он звенел, чтоб надувались жилы,
Чтоб золотом густым переливалась кровь.
Он не умрет, но станет дик и темен.
И будут жить в груди его слова,
И возвышает голос он, и голосом подобен
Набегу волн, сбивающих дома.

Февр. 1923

У трубных гор, под сенью гулкой ночи,
Ласкаем отблеском и сладостью могил,
Воспоминаньями телесными томимый,
Сказитель тронных дней, не тронь судьбы моей.
Хочу забвения и молчаливой нощи,
Я был не выше, чем трава и червь.
Страдания мои — страданья темной рощи,
И пламень мой — сияние камней.
Средь шороха домов, средь кирпичей крылатых
Я женщину живую полюбил,
И я возненавидел дух искусства
И, как живой, зарей заговорил.
Но путник тот, кто путать не умеет.
Я перепутал путь — быть зодчим не могу.
Дай силу мне отринуть жезл искусства,
Природа — храм, хочу быть прахом в ней.
И снится мне, что я вхожу покорно
В широкий храм, где пашут пастухи,
Что там жена, подъемлющая сына,
Средь пастухов, подъемлющих пласты.

Взращен искусством я от колыбели,
К природе завистью и ненавистью полн,
Все чаще вспоминаю берег тленный
И прах земли, отвергнутые мной.

Февр. 1923

Не человек: все отошло и ясно,
Что жизнь проста. И снова тишина.
Далекий серп богатых Гималаев,
Среди равнин равнина я
Неотделимая. То соберется комом,
То лесом изойдет, то прошумит травой.
Не человек: ни взмахи волн, ни стоны,
Ни грохот волн и отраженье волн.
И до утра скрипели скрипки, —
Был ярок пир в потухшей стороне.
Казалось мне, привстал я человеком,
Но ты склонилась облаком ко мне.

Ноябрь 1923

«Я воплотил унывный голос ночи,
«Всех сновидений юности моей.
«Мне страшно, друг, я пережил паденье,
«И блеск луны и город голубой.
«Прости мне зло и ветреные встречи,
«И разговор под кущей городской».
Вдруг пир горит, друзья подъемлют плечи,
Толпою свеч лицо освещено.
«Как странно мне, что здесь себя я встретил,
«Что сам с собой о сне заговорил».
А за окном уже стихает пенье,
Простерся день равниной городской.

Хор

«Куда пойдет проснувшийся средь пира,
«Толпой друзей любезных освещен?»
Но крик горит:
«Средь полунощных сборищ
«Дыханью рощ напрасно верил я.
«Средь очагов, согретых беглым спором,
«Средь чуждых мне проходит жизнь моя.
«Вы скрылись, дни сладчайших разрушений,
«Унылый визг стремящейся зимы
«Не возвратит на низкие ступени
«Спешащих муз холодные ступни.
«Кочевник я среди семейств, спешащих
«К безделию. От лавров далеко

«Я лиру трогаю размеренней и строже,
«Шатер любви простерся широко.
«Спи, лира, спи. Уже Мария внемлет,
«Своей любви не в силах превозмочь,
«И до зари вокруг меня не дремлет
«Александрии башенная ночь».

Июль 1923

Один средь мглы, среди домов ветвистых
Волнистых струн перебираю прядь.
Так ничего, что плечи зеленеют,
Что язвы вспыхнули на высохших перстах.
Покойных дней прекрасная Селена,
Предстану я потомкам соловьем,
Слегка разложенным, слегка окаменелым,
Полускульптурой дерева и сна.

Ноябрь 1923

ПЕРЕЧЕНЬ СТИХОВ

издательство писателей в ленинграде
внутри гостиного двора, № 52/54.

поэзия

Н. Заболоцкий. Столбцы	1.10
М. Комиссарова. Первопуток	—70
М. Кузмин. Форель разбивает лед	2.—
Е. Полонская. Упрямый календарь	1.30
С. Спасский. Особые приметы	1.25
В. Хлебников. Собрание сочинений, т. I. В переплете.	3.60
В. Хлебников. Собрание сочинений, т. II. В переплете	2.95
В. Хлебников. Собрание сочинений, т. III. В переплете	3.50
В. Хлебников. Собрание сочинений, т. IV. В переплете	2.95
Н. Чуковский. Сквозь дикий рай	—70
В. Эрлих. Софья Перовская	—60

склад изданий — госиздат рсфср

ПОЭТ ТРАГИЧЕСКОЙ ЗАБАВЫ

Послесловие к репринтному изданию

Как, в сущности, еще мало мы знаем свою замечательную отечественную литературу! Ладно, классиков еще, что называется, с грехом пополам, но вот литераторов начала XX в. — вплоть до наших дней — знаем из рук вон плохо. Время постоянно преподносит нам открытия. Одновременно в нашу жизнь сегодня входят произведения писателей русского зарубежья 20—30-х гг., книги недавних “диссидентов” и творчество по тем или иным причинам забытых русских прозаиков и поэтов, чьи 100-летние юбилеи либо недавно отмечены, либо еще предстоят.

Если бы мне еще пять лет назад кто-нибудь сказал, что сразу несколько популярных издательств примутся тиражировать стихи и прозу Константина Вагинова, очень бы удивился. Кто-то из известных критиков-литературоведов (пишу по памяти) отозвался о нем в сборнике “Контекст” как о совершенно забытом писателе. Книги его, изданные тиражом от 500 до 4000 экземпляров, практически отсутствуют в читательском обиходе; почти неизвестны его изображения, портреты.

В последние годы стали появляться воспоминания о писателе. Так, его облик мелькает на страницах сборника “Воспоминания о Н.Заболоцком” (вышел двумя изданиями). В сборнике “Четвертые тыняновские чтения” И.М.Наппельбаум рассказывает:

"Все то, что было вне интересов искусства, Вагинов не замечал и — увы! — не понимал.

Он был нумизмат, собирал старинные книги, изучал древние языки. Он бродил по толкучкам и выискивал старинные печатки, мундштуки, перстни с камеями, геммами, которые всегда украшали его тонкие, хрупкие, смуглые пальцы. Он был беден, но вещи как бы сами шли к нему. Люди сразу душевно располагались к его тихому голосу, к доброте, постоянно живущей в его глубоких, больших, карих, совершенно бархатных глазах.

Иногда бывал по-детски беспомощен. Однажды спросил меня умоляюще: — Скажи мне, какая разница между ЦК и ВЦИКом? Нет, мне этого никогда не понять! — добавил он с отчаянием".

Примерно в те же дни поэтесса Вера Лурье так охарактеризовала писателя: "Маленького роста, худой, с детской улыбкой и грустными карими глазами, он носил коричневый френч, а поверх него огромную шинель отца-полковника, в которой жалко утопал".

Его любили и старались понять. Константин Вагинов узнал-таки признание и, что называется, вкусил славу (пусть не огромную) еще при жизни, встретил уважение и одобрение таких литературных светил, как Михаил Кузмин и Николай Гумилев, Осип Мандельштам и Николай Тихонов; потом его, к сожалению, поглотило забвение, если не считать редкие (раз-два в десятилетие) публикации 60—70-х гг. В недавней своей книге "О старом и новом" Лидия Гинзбург привела запись 1925—1926 гг., озаглавленную "Поэты". Вот она:«Недели две тому к Борису Михайловичу Эйхенбауму в час ночи позвонил Мандельштам, с тем чтобы сообщить ему, что:

— Появился Поэт!

— ?

— Константин Вагинов!

Б.М. спросил робко: “Неужели же вы в самом деле считаете, что он выше Тихонова?” Мандельштам рассмеялся демоническим смехом и ответил презрительно: “Хорошо, что вас не слышит телефонная барышня!”

Вот она, живая история литературы, история литературы с картинками».

* * *

В стране Гипербореев
Есть остров Петербург,
И музы бьют ногами,
Хотя давно мертвы.

В этой вагиновской строфе из стихотворения 1926 г. закодировано многое из его мироощущения, из его поэтики, и его литературных пристрастий. А что же известно о судьбе и творчестве Вагинова? До недавнего времени можно было руководствоваться только краткой справкой из девятого, дополнительного тома КЛЭ (1978), принадлежащей перу Т.Л.Никольской. Малодоступные зарубежные издания подготовлены Л.Чертковым и В.Казаком. Сравнительно недавно журнал “Литературное обозрение” (№ 1 за 1989 г.) опубликовал раннюю прозу писателя и его стихи из частных альбомов и редких изданий 20-х гг., откомментированные Т.Л.Никольской.

* * *

Константин Константинович Вагинов (Вагенгейм) родился 4(16) апреля 1899 г. в Петербурге. Родители его

были людьми состоятельными. Константин Адольфович Вагенгейм (фамилию он сменил на Вагинов в 1915 г.), немец по происхождению, был кадровым военным, полковником. Мать, Любовь Алексеевна, вышла из семьи богатого сибирского промышленника, ей принадлежало в Петербурге несколько домов.

Будущий поэт учился с 1908 по 1917 г. в частной гимназии Я.Гуревича, затем поступил на юридический факультет Петроградского университета. В 1918 г. он был призван в Красную Армию, воевал на польском фронте и за Уралом. Был переведен в родной город в 1921 г., служил военным писарем, в апреле 1922 г. был демобилизован.

С 1923 по 1926 г. занимался на Высших государственных курсах искусствоведения при Институте истории искусств. В 1926 г. женился на Александре Ивановне Федоровой, писавшей тогда стихи и занимавшейся вместе с Вагиновым в студии молодых поэтов, которой после смерти Н.Гумилева руководил К.Чуковский.

Первые стихи Вагинов написал в 16 лет, как сам признавался, под впечатлением "Цветов зла" Бодлера. Впервые опубликовался в 1921 г. Участвовал в работе многих петроградских-ленинградских литературных групп: "Аббатство гаеров", "Кольцо поэтов им. К.М.Фофанова", "Островитяне", "Цех поэтов", "Звучащая раковина", "ОБЭРИУ".

Первый сборник стихов "Путешествие в хаос" вышел под маркой "Кольца поэтов" в 1921 г. тиражом 500 экз., второй — "Стихотворения" — в 1926 и третий — "Опыты соединения слов посредством ритма" — в 1931 (тиражом

1200 экз.). Была подготовлена книга “Звукоподобие” (стихи 1930—1934 гг.), однако она так и осталась в рукописи.

Одновременно с первой стихотворной публикацией Вагинов начал писать прозу. Ранние произведения — “Монастырь господа нашего Аполлона” и “Звезда Вифлеема” — впервые были опубликованы в петроградском альманахе “Абраксас” в 1922 г. Альманах этот выпускала группа эмоционалистов, лидером которой был Михаил Кузмин, высоко ценивший дарование Вагинова. В его книге статей об искусстве “Условности” (Петроград, “Полярная звезда”, 1923) есть “Письмо в Пекин”, где наряду с А.Белым, Хлебниковым и Пастернаком фигурирует и Вагинов. М.Кузмин пишет: “Тут же я обращаю ваше внимание на стихи и прозу Константина Вагинова, зная вашу привычку следить за всем значительным с самого начала”.

Книга стихов К.Вагинова “Опыты соединения слов посредством ритма” во многом итоговая, своеобразное “избранное”. Известно, что сам поэт не делал практически никаких усилий для публикаций, что называется, не занимался “пробиванием” стихов в печать. В этом ему помогали, его заменяли друзья, ценители его дарования. Была тут и некоторая “обратная” сторона — стихи публиковались с опечатками, порой композиция была не выверена.

“Опыты соединения слов посредством ритма” вышли с издательским предисловием (есть версия, что автором его был Виссарион Саянов). Здесь прямо говорится: “Лирика Вагинова бессюжетна. Она свободна от рифмы, от обязательной для футуризма гиперболы, от обязатель-

ной для акмеизма строфы... В стихах Вагинова смещение плоскостей пространства и времени кажется на первый взгляд неожиданным, фантастическим. Но ведь сама эпоха диктует нам темы таких смещений.

...Я в толпе сермяжного войска.
В Польшу налет — и перелет на Восток.
О, как сияет китайское мертвое солнце...
Снова на родине я. Ем чечевичную кашу.
Моря Балтийского шум. Тихая поступь ветров.

А смещение во времени — порождение того же стиля, который сочетает в Ленинграде классическую архитектуру зданий Гваренги, Томона и Росси с подъемными кранами, эллингами и заводскими корпусами. Но только невнимательный читатель не увидит у Вагинова внутренней борьбы сталкивающихся элементов, борьбы эпох, тяжбы поэта с "проклятым богом сухой и злой Эллады".

Вагинова с первых строк интересовало отношение цивилизации и культуры. Современность ему напоминала события далеких дней Древнего Рима, когда язычество с болью и кровью сменялось христианством, с той лишь разницей, что сейчас новые язычники, варвары рушили налаженный быт, ломали святыни, стирали в порошок культурные ценности. Вагинов чувствовал себя одним из последних хранителей этих ценностей и этих святынь. В стихах 1922 г. у него "Россия — Рим" (прямое уподобление), "римский воздух северной страны". В "Звезде Вифлеема" чередуются срезы времени. Также Петербург — Рим. На Волге растут лотосы. Звук ведет смысл: финский берег притягивает афинские ночи. Автор-рассказчик сам

называется: "Я — последний Зевкид-Филострат... Повернул колесо на античность".

Мировые катаклизмы (первая мировая война, революция 1917 г.) толкают писателя к эсхатологическим пророчествам. Это общая примета времени. Совмещение фантазии и реальности, сновидения и яви, гротеска и будничного быта — тоже характерная примета литературной практики 20-х гг. Вагинов в ноябре 1923 г. пишет:

Предстану я потомкам соловьем,
Слегка разложенным, слегка окаменелым,
Полускульптурой дерева и сна.

В стихотворении этого же года у него "Аполлон по ступеням, закутавшись в шубу, бежит". В стихотворении "Психея" (1924) из "мертвого города" Филострат, "целуя узкое лицо", стремится в "спокойный дом на берегах Невы".

Филострат для Вагинова — синоним Орфея, alter ego, двойник писателя. Интересно было бы узнать, как Вагинов пришел к этой мысли. Реальный Флавий Филострат, греческий писатель II—III вв., жил в Римской империи. По поручению Юлии Домны, жены императора Септимия Севера, он принялся за книгу об Аполлонии Тианском, философе, странствующем пифагорейце, жившем в конце I в. (Пифагор же жил в VI в. до н.э.).

Филострат, без сомнения, определил направление многих размышлений Константина Вагинова, повлиял на его творческую манеру. Все эти пронумерованные периоды-фрагменты ранней прозы, новеллистичность многих эпизодов будущих романов, преображенные заимствования как осознанный литературный прием. На-

конец, жизнестроительство и вера в метапсихоз (переселение душ).

Вагинов выстраивал свою жизнь, воссоздавал отражение жизнестроительства в своем творчестве и, можно сказать, принял литературную аскезу (отказался от материального успеха ради духовного преображения).

Первый его роман "Козлиная песнь" был опубликован в ленинградском журнале "Звезда" в 1927 г. и затем вышел в издательстве "Прибой" тиражом 3000 экз. Главное в романе — атмосфера уходящего Петербурга, контуры нового города, в котором живут разные люди, не находящие себе достойного места в современной им действительности и все-таки как-то пытающиеся к ней приспособиться. Их волнует гибель культуры, гибель основополагающих ценностей, ибо за этим может последовать гибель их самих, гибель личности. Роман был написан не без влияния учения Фрейда (к которому Вагинов относился, судя по роману, достаточно скептично) и книги Освальда Шпенглера "Закат Европы", вышедшей в издательстве Л.Д.Френкель в 1923 г.

Вагинову были близки модернистские тенденции, хотя он в стихах и прозе — шире, объемнее; он много размышляет о смерти, не превращая ее в культ (а ведь сам он болен, и, как окажется, неизлечимо — туберкулезом), он стремится сбросить печать безвременья, хотя безвременье обступает; для Вагинова за всеми эсхатологическими пророчествами брезжит выход, лучик надежды:

О, сколько лет я превращался в это...
...Я символистом свесился во мглу...
...Нет, я другой. Живое начертанье
Во мне растет, как зарево

Я миру показать обязан
Вступление зари в еще живые ночи.

(1924)

Видимо, кстати перечитать сейчас "Письмо из Петербурга" Мариэтты Шагинян, датированное 1922 г.: «Петербург стал сейчас "тихой провинцией". Раздвинулись дома (необитаемость, обвалы), улицы (отсутствие движения), кварталы (не так легко попасть из одного в другой, как раньше). А люди придвинулись друг к другу, их стало меньше, наперечет, и все они пребывают на обоюдном поле зрения.

Это ведет к особому укладу общественных отношений, типичному для провинции: к партикуляризму, т.е. привычке группироваться, действовать и судить по принципу "частного образа". Частный образ действий — это манера считаться не с поступком, а с личностью, его сотворившей, не с идеологией, а с ее носителем. Такое домашнее отношение к человеку возможно лишь там, где людей мало и все они хорошо друг друга знают; оно всегда пристрастно в ту или иную сторону. И Петербург являет сейчас пример величайшего пристрастия». Вот свидетельство очевидца. А Вагинов отразил то же чувство в стихах 1920—1921 гг.:

И голова моя качается, как череп,
У окон сизых, у пустых домов,
И в пустыри открыты двери,
Где щебень, вихрь, круженье облаков.

* * *

Литературная жизнь Петрограда-Ленинграда 20—30-х гг. отличалась необычайной интенсивностью и усложненностью. Общественные катаклизмы вызвали духовную сумятицу, которая выразилась в том числе и во множестве литературных групп, группочек, направлений и школ. Мощным литературным течением стал открытый литературный эклектизм. Вагинов не чурался эклектики, более того, избрав для себя образцом следование идеям и манере Филострата, порой отождествляя с ним себя, входил практически во все петроградско-ленинградские литературные группировки. Литературная ориентация его постоянно менялась, начал он с освоения символизма. Потом изучал акмеизм, примыкал к эмоционалистам. С Гумилевым его сближала любовь к экзотике, с Кузминым — открытость и ясность чувства, с Мандельштамом — изощренность и зашифрованность письма, "тоска по мировой культуре". Думается все же, что ни к одной литературной группировке настоящей творческой близости Вагинов не испытывал.

В 1927 г. Вагинов ненадолго сблизился с членами кружка АБДЕМ (Болдырев, Доватор, Егунов, Миханков). Как-то после прочтения вагиновского стихотворения "Эллинисты" молодые филологи-переводчики пришли к поэту в гости. Затем и он начал посещать домашние семинары переводческого кружка. Стал заниматься с Егуновым греческим языком, пробовал переводить с греческого. Следы увлечений остались в романах в виде цитируемых текстов, кроме того, здесь несомненно и влияние Джойса, с творчеством которого его познакомил Дуглас Харман (ирландский поэт из "Козлиной песни").

Вагинов прослушал коллективные читки новых переводов трагедии Эсхила и Софокла, возможно, привлек членов кружка к переводу Филострата, который так и не был завершен. Кстати, в 1925 г. абдемовцы издали свой перевод “Левкиппы и Клитофонта” Ахилла Татия Александрийского, а в 1932-м — “Эфиопики” Гелиодора. В последующем Вагинов перестал посещать кружок, хотя и сохранял с эллинистами добрые отношения(по свидетельству жены одного из переводчиков, все они нередко заходили к Вагинову послушать стихи за дружеским чаепитием).

Вступление Вагинова в ОБЭРИУ произошло также по инициативе обэриутов. Есть свидетельства о том, что он был наиболее близок с Н.Заболоцким, хотя есть и противоположные мнения.

В сущности, вся поэзия и проза Константина Вагинова — прежде всего диалог с самим собой, со своим литературным двойником, alter ego, желание одновременно ощутить точные координаты своего творческого “я” и — побег из “тихого ада бытия” в иные миры: в античность, понимаемую им не как реликт, и — в будущее, понимаемое не как постепенно эволюционизирующее вчера, а именно — в новое яркое завтра. Связь времен поэт постоянно подчеркивает, например, в “Поэме квадратов”, есть там и очень важный рефрен: “да я поэт трагической забавы”. А ведь он никогда ничего не говорил ради вящего эффекта, ради красного словца.

* * *

Конечно, Вагинова привлекала миссия мессии, миссия спасителя гуманитарных, гуманистических ценностей,

культурное мессианство, хотя с годами, все более погружаясь в свою тяжелую болезнь и одновременно чувствуя безысходность огрубения действительности, распад культуры, омозолелости души, он становится только фиксатором ощущений, систематизатором былой культуры, стремится запечатлеть оттенки сумерек культуры, музеифицирует время и личности.

Жизнь, показанная Вагиновым и в стихах, и в прозе в это время, на первый взгляд бездуховна, ирреальна, словно бы действие происходит на морском дне (Петроград — новоявленный Китеж, только без сусальности и остронациональной ностальгии), мир зыблется вместе с массами водообразной субстанции, искажающей предметы и лица наподобие призм и линз.

В немалой степени Вагинов, на мой взгляд, предтеча абсурдистов, предтеча экзистенциалистов. Связь с реальным миром в его произведениях не совсем утрачена, но уже явственно надорвана. Налицо одиночество каждого персонажа и невозможность, непостижимость проникновения в его внутренний мир, налицо его замкнутость в себе. Каждый герой ведет борьбу с судьбой, с роком, с фатумом — в одиночку. В том числе и лирический герой его поэзии. И борьба эта почти всегда заканчивается поражением (чаще смертью). Даже те отдельные персонажи, одержимые идеей сытой, спокойной жизни, не могут до конца омещаниться, не могут принять формы нового победившего миропорядка. Рок их ведет через страдания к безверью, лишает идеалов и иллюзий, приводит к абсурду.

Выхода из тупиковой ситуации нет. Вагинов — изверившийся интеллигент, не то атеист, не то язычник, мне

кажется, он утратил Бога ("О, только бы уйти от Бога, солгавшего и лгавшего всегда", 1920—1921 гг.), его разъедает безверие, и культура стала его, может быть, последней религией. От "островов Вырождения" никуда не уплыть, выход один, он безнадежно ясен, и сегодняшним исследователям никогда не удастся выяснить, предчувствие ли тяжелой болезни (туберкулеза) или, наоборот, постоянные заклинания в стихах и прозе накликали, вызвали эту беду:

Обыкновенный час дарован человеку.
Так отрекаемся, едва пропел петух,
От мрамора, от золота, от хвои
И входим в жизнь, откуда выход — смерть.

(Август 1922)

Играй, игрок, ведь все равно кладбище.

(Ноябрь 1922)

Я волнами языческими полн.
Плывет Орфей — прообраз мой далекий.

(1922)

Невозвратимого не возвращай,
Напрасно музыка играет по ночам,
Не позабуду смерть и шелестенье злаков
И прохожу над миром одинок.

(1923)

Любовь в его романах и некоторых стихах также больна распадом. И хотя человек пока не может обойтись без другого человека, он начинает любить порой уже не само-

го человека, а фантомы, фетиши, осколки культуры безоблачного детства. И тогда возникает новая, как бы предпоследняя или последняя иллюзия породнения через те или иные предметы коллекционирования или куплипродажи.

Сознавая алогичность большого мира, вагиновский герой пытается спастись бегством в свой внутренний мир, в мир вневременных иллюзий:

И мимо мелькают и вьются,
Заметно к могилам спеша,
В обратную сторону тени
Когда-то любимых людей.
Из юноши дух выбегает,
А тело, старея, живет,
А девушки синие очи
За нею, как глупость, идут.

(1924)

В своем творчестве Вагинов постоянно декларирует поиски смысла, жажду ясности, но неотвратимое состояние абсурда, нелепости бытия приводит вновь и вновь к утрате реальности. Мир предстает как бы на заре европейской культуры, на заре христианства, непонятным и иррациональным, обезображенным натиском новых варваров и язычников. Только неизбежное предчувствие смерти, испуг перед ее неотвратимостью оживляет героев и скрашивает их бессмысленное существование, подкрашивает их безликость черной краской ужаса.

Все, написанное Вагиновым, отмечено знаком высокой культуры. Его произведения созданы человеком, выросшим среди высоких образцов книжной и вообще

материальной культуры; человеком, остро переживающим распад этой культуры и стремящимся сберечь в слове, в образе и ритме хотя бы остатки имперского величия России.

Вагинов был достаточно пластичен, известны (хотя и не опубликованы) его отзывы на французские романы; поэзия и проза испытывают сродство со многими течениями литературной мысли: символизмом, акмеизмом, эмоционализмом, наконец, Вагинов стал одним из предтеч обэриутов и на короткое время — членом ОБЭРИУ. В известной Декларации ОБЭРИУ говорится: “Мы расширяем смысл предмета, слова и действия... Эта работа идет по разным направлениям, у каждого из нас есть свое творческое лицо, и это обстоятельство кое-кого часто сбивает с толку. Говорят о случайном соединении различных людей. Видимо, полагают, что литературная школа — это нечто вроде монастыря, где монахи на одно лицо. Наше объединение свободное и добровольное, оно соединяет мастеров, а не подмастерьев — художников, а не маляров. Каждый знает самого себя, и каждый знает, — чем он связан с остальными...

К.Вагинов, чья фантасмагория мира проходит перед глазами как бы облеченная в туман и дрожание. Однако через этот туман вы чувствуете близость предмета и его теплоту, вы чувствуете напрывание толп и качание деревьев, которые живут и дышат по-своему, по-вагиновски, ибо художник вылепил их своими руками и согрел их своим дыханием".

Знаменитый литературный вечер “Три левых часа”, состоявшийся 24 января 1928 г., впервые обозначил среди обэриутов помимо А.Введенского, И.Бахтерева, Н.За-

болоцкого и Д.Хармса имена К.Вагинова, Н.Кропачева и Б.Левина. Вагинов к этому времени издал две книги стихов и опубликовал в журнале "Звезда" роман "Козлиная песнь", где уже упоминались "зеленые юноши в парчовых колпачках", его товарищи и единомышленники. Но и с ними писателя развело творчество и время.

В "Опытах" немало как бы "обэриутских" стихов. Назовем хотя бы такие: "Дрожал проспект, стреляя светом...", "Песня слов", "От берегов на берег..." и "Слова из пепла слепок...". В 30-е гг. поэт придет к другим, менее экспрессивным, но более углубленным и неоднозначным стихам, таким, как "Он разлюбил себя, он вышел в непогоду...", "Прекрасен мир не в прозе полудикой..." или "Черно бесконечное утро...".

В 1929 г. вышел роман "Труды и дни Свистонова", где автор саркастически показал процесс создания литературного произведения, самопародийно обнажая технологию его создания.

В 1931 г. почти одновременно вышли "Опыты соединения слов посредством ритма" и третий роман "Бамбочада", герои которого чудаки-коллекционеры, чье положение по сравнению с таковыми же из "Трудов и дней Свистонова" стало более безрадостным и безысходным. Автор в послесловии решительно отмежевался от желания "описывать странных людей ради описания странных людей. Автор ставит здесь серьезнее вопрос. Автору кажется, что он боком затронул здесь особую породу людей, занимающихся тенью общественной деятельности".

Вопрос действительно был серьезнее. Вагинов писал все о том же, о невозможности людям, которые еще не подстро-

ились под новый порядок, найти место в жизни. Его герои не хотели ходить строем и петь маршевые песни, им не хватало воздуха культуры, легкие отказывали.

В 30-е гг. произошло обострение туберкулеза, которым писатель болел семь лет. Лечение не помогло. Не помогли поездки в Крым и Сухуми. “Он таял на глазах. На щеке, на челюсти появился свищ... юг не помог, не спас” (из свидетельства очевидца). Умер Вагинов 26 апреля 1934 г. Был похоронен на Смоленском кладбище. Вскоре после смерти писателя был арестован его отец. Изъяли вагиновский архив. Пропали наброски романа о 1905 годе. Публикации прекратились. Сборник “Звукоподобие” остался в рукописи. Только в конце 60-х гг. были напечатаны стихи Вагинова в ленинградском альманахе “День поэзии”. Мелькнуло его имя и в журналах. За рубежом вышел в 80-х гг. неоконченный роман “Гарпагониана” (под искаженным названием). Герои его — те же коллекционеры, положение их хуже некуда. Коллекционерские страсти все более абсурдируются. Персонажи собирают ногти, письма, перекупают друг у друга сновидения. Широко используется автором городской фольклор, среди героев появляются отщепенцы, уголовники. По-прежнему неясна сюжетная линия. Многие главы романа фрагментарны. Сценки профильтрованы через восприятие автора-рассказчика. Только город еще сопротивляется, остается одним из важных действующих лиц романа, хотя будущего у него тоже нет. Вспоминается здесь строфа из стихотворения, написанного в феврале 1923 г.:

И вот один среди болот,
Покинутый потомками своими,
Певец-хранитель город бережет
Орлом слепым над бездыханным сыном.

* * *

Герои Вагинова, как и сам автор, не боятся выглядеть смешными. Они совершают странные поступки, ведут себя порой алогично с точки зрения здравого смысла, но в том-то и суть, что писатель уверен в иррациональности бытия, в абсурдности человеческого существования. Вагинов, берусь утверждать, экзистенциалист до экзистенциализма (а он был знаком с работами Кьеркегора, Бердяева, Шестова, не говоря уже о Достоевском). Сюрреалист до русского сюрреализма (Г.Адамович сравнивал его стихи со стихами П.Элюара).

Проблема человеческого бессмертия сводилась для Вагинова к проблеме бессмертия личного, и вот какие пути он предлагал: бессмертие через литературный труд, через созданные произведения или эфемерное бессмертие через духовный отпечаток на фоне материальной культуры, через собрание книг, вещей, музейных раритетов (вроде того, как отпечатывается хвощ на куске каменного угля или остается насекомое в янтаре). Отсюда немалая доля “черного юмора”.

Вагинова никогда не интересовало типизирование, он старался вглядеться в индивидуальное. Не боясь при этом архаики. Его поэтика с оглядкой на античность тем не менее вся устремлена в будущее. Он не случайно стал предтечей обэриутов, ведь и сегодня его часто вспоминают, он как бы предвосхитил творческие поиски метаме-

тафористов и концептуалистов. Логика развития художественных идей такова, что рано или поздно любая художественная правда выходит из-под спуда на свет и находит своих сторонников и поклонников (впрочем, как и врагов). Открытия Вагинова — его ареал действительности и обстоятельств, его поэтический язык, его устойчивая символика, проходящая через стихи и прозу. Реминисценции и иносказания — в большой близости к поискам О.Мандельштама — создали своеобразный фон литературной ткани его творчества. Диалогичность многих его стихов вполне осознанно продемонстрировала наличие двух истин, а следовательно — ни одной истины, убеждала в непознаваемости внешнего мира, оставляя жить в мире внутреннем. "Жить лишь в самом себе умей, есть странный мир в душе твоей", — писал десятилетиями раньше гениальный Тютчев.

В дни обновления общественной и духовной жизни стихи и проза Константина Вагинова не только небезынтересны, но и чрезвычайно актуальны. Они заставляют снова размышлять о цикличности бытия. Мощное всплытие стихов (а надеюсь — вскоре — и прозы, и особенно "Досок судьбы") Велимира Хлебникова, пришедшееся на 100-летие со дня его рождения, указует, что впереди немало подобных литературных сдвигов.

Константин Вагинов ждет и новых читателей, и новых исследователей. Одногодок Набокова, проживший, к сожалению, так классически мало, он движется к своему 100-летию основательно и неумолимо.

Виктор Широков

Вагинов Константин Константинович

ОПЫТЫ СОЕДИНЕНИЯ СЛОВ
ПОСРЕДСТВОМ РИТМА

*Репринтное воспроизведение
издания 1931 года*

Ответственный за выпуск
В.И.Синюков

ИБ № 2165
Подписано в печать 24.10.90. Формат 70х100 1/32. Печать офсетная. Усл. печ. л. 3,90. Усл. кр.-отт. 4,06. Уч.-изд. л. 2,43. Тираж 25 000 экз. Изд № 5083. Заказ №1061.Цена 2 р.
Издательство "Книга". 125047, Москва, ул. Горького, 50.
Отпечатано в московской типографии № 4 Госкомпечати СССР.
129041, Москва, ул. Б. Переяславская, 46.

В $\frac{4702010202-048}{002(01)-91}$ КБ-3-54-91
ISBN 5-212-00565-5

2 p.